



Александр Андреевич ПРОКОФЬЕВ (справа) и Николай Леопольдович БРАУН. Снимок 1967 года.

# ВЕХИ ЕГО ЖИЗНИ

Николай БРАУН

Завтра исполняется семьдесят лет Николаю Леопольдовичу Брауну. Еще в первом своем сборнике стихов «Мир и мастер», вышедшем в далекие двадцатые годы, поэт во весь голос заявил о сыновней верности своей стране, воспел молодую поступь социалистической России, ее природу, жаркие рабочие будни. «Верность», «Должны родины моей», «Земля в цвету», «Мой светлый край», «О самом близком» — эти поэтические сборники Николая Брауна вошли в золотой фонд нашей советской поэзии.

Поздравляя замечательного советского поэта Николая Леопольдовича Брауна в его славный 70-летие, мы предлагаем вниманию читателей его воспоминания о своем друге лауреате Ленинской премии, Герое Социалистического Труда Александре Андреевиче Прокофьеве, который был бессменным членом редколлегии «Литературной России» с первого дня ее существования и память о ком для нас священна.

**Я** БЕРУ с полки книги Александра Прокофьева, начиная от самых ранних, читаю на титульных листах задушевные дружеские надписи, перечитываю издавна знакомые мне стихи — и они, словно вехи его жизни, воссоздают в памяти моей многое.

Я шел рядом с Прокофьевым с первых его шагов в литературе, с первых книг «Полдень» и «Улицы Красных Зорь», сквозь все годы и десятилетия до последних дней его жизни.

Здесь я коснусь только некоторых впечатлений, преимущественно ранней поры.

Я вспоминаю, как во второй половине двадцатых годов в редакционную комнату журнала «Звезда», где я тогда работал, в ранний утренний час, когда в редакции еще было пусто, вошел молодой коренастый парень в военной шинели и, робко остановившись у порога, спросил о судьбе своих стихов. Назвал фамилию.

Я направился к шкафу, где хранились рукописи, и, как вспоминал потом Прокофьев, взялся за ящик, на котором было написано: «Возврат». Но стихи не были забракованы. Николай Тихонов (он вел тогда отдел поэзии) успел уже отобрать для печати стихи Прокофьева, которые стали потом широко известными, — «Мой братенник», «Мы» и другие.

Стихи эти мне очень понравились, я сразу запомнил их и рад был знакомству с их автором.

А он стоял передо мной, и в серых глазах его робость и настороженность пропали, они засверкали искринками лукавого юмора.

Знакомство наше очень скоро переросло в дружбу. Многие сблизало нас. В Прокофьеве я ощутил поэта своеобразного, тонко чувствующего слово и в ту пору сложных исканий и споров о путях развития советской поэзии удивительно рано нашедшего благодаря какому-то врожденному абсолютному слуху верный поэтический голос, способный передать голос времени, голос эпохи.

Этот голос рос очень быстро, становился все крепче, звучал все громче, завоевывал все более широкую аудиторию читателей.

В одном только 1931 году у него вышли одна за другой четыре книги — «Полдень», «Улицы Красных Зорь», «Победа» и «Сотворение мира».

Обозначились и направления его тематики: Ладога, Родина, Россия, боевая

публицистика, гражданская война, лирические стихи песенного плана.

И все это — на основе народного слова, которое входило в его поэзию естественно: он родился и вырос, окруженный его живым звучанием. Народность его поэзии никогда и нигде не срывалась в стилизацию, она была предельно подлинна.

И говор Прокофьева, и чтение им своих стихов были пронизаны живым звучанием говора приладожских деревень, с легким оканьем, с теми интонациями, в которых и колоритное слово, и красочные, неожиданные образы возникали в едином, как дыхание, поэтическом раскрытии.

Поэзия Прокофьева пронизана глубокой песенностью — на многие его стихи написана музыка, но и независимо от этого она песенна в самой своей сути. Недаром он так любил песню, так много знал народных песен, и эти песни, и некоторые свои стихи он напевал с непередаваемым своеобразием.

Он пел их так, как певали его отцы и деды — ладожские рыбаки. Песни старинные, по-русски широкие, где слышались и грусть, и раздумье, он пел протяжно, с такими голосовыми переходами, разливами и взлетами, которые не выразить никакими нотными знаками.

Частушки, которых он знал великое множество, он пел весело, задорно, и казалось, что тесно этому задору в пределах голоса, и в такт песни он развёл от плеча к плечу руки, и пальцы его как будто ходили по клавишам невидимой гармонии.

Многие его стихи просились в песню, и, не дожидаясь композитора, то я, то он сам слагали напевы по своему разумению и пели их. Да и как было их не запеть!

Развернись, гармоника, по столу, Я тебя, как песню, подниму. Выходила тоненькая-тоненькая, Тойей называлась потому...

Или: Гармоника играет, гармоника поет. Товарищ товарищу руки не подает.

Помню, как-то сидя у него в комнате в сумерки, после какой-то совместной работы по редактуре переводов, я воспроизвел найденный мною накануне простенький напев его стихотворения, он тут же уловил его, и в два голоса, тихо-тихо, мы пели:

Девчонка пела золотая, И всюду слышали вдали, Что снег на Волге не растаял, И что цветы не расцвели.

Девчонка, брось! Взгляни — над краем Венки из красных зорь плетут. Девчонка, брось! Снега взыграют, Цветы в долинах расцветут...

Однажды он написал стихотворение, начинающееся словами: «Что-то сердце вдруг растрожено, для тревог оно в груди положено...». По всему словарю, по оборотам речи, по интонации оно было настолько подлинным и настолько песенным, что так и просилось в песню. И он сам, по-своему, запел его, как песню. Он пел эту песню и сам для себя, он пел ее и за столом, и голос его разворачивался таким удивительным распевом, что надо было слушать только его одного: невозможно было сочетать другие голоса с его своеобразным разливающим напевом.

Поэзия Прокофьева радовала великолепным, опять-таки по-народному подлинным юмором. И это был юмор не внешний, не юмор положения, какой часто звучит с эстрады, но юмор, возникающий из самого слова, таящего юмор. Прокофьев умел находить его и высекать удивительные искры. Возьмите его плясовые-частые, его частушки, ушедшие в народ и записанные потом как на-

шившись у окошка, что-то писал. А потом подошел ко мне, присел на скамейку и прочитал написанное. Это было одно из стихотворений превосходного цикла об уральских партизанах («Обгорела неувяда, богородская трава...»). И снова отошел к окну и, пока мы ехали, прочитал еще одно только что написанное стихотворение из этого цикла. Так он работал и в войну, оперативно, по заданиям, а чаще опираясь на свою собственную, внутреннюю потребность.

Были у него и пристрастия.

Многие годы он любил писать карандашом и не каким-нибудь, а только тем, к которому привыкал. Карандаш испускался, укорачивался, становился совсем коротышкой, но он не расставался с ним. И если не обнаруживал его на месте, не начинал писать, пока не найдет свой привычный, излюбленный, как будто в нем-то и заключалась таинственная сила вдохновения. И, если он не находил его, к поискам карандаша привлекались домашние, которые никак не могли понять, почему нельзя писать другим. И, когда наконец карандаш находили, он торжественно брал его в руки, и лицо его светилось радостью, и работа начиналась и спорилась — заветный карандаш работал...

В 1930 году при активном участии Прокофьева возникла группа поэтов «Ленинград». В нее вошли: А. Прокофьев, В. Саянов, Б. Лихарев, А. Гитович и я. Нас сблизало многое в понимании задач, которые предстояло решить молодой советской поэзии.

Многочисленные манифесты и декларации, возникавшие в начале 20-х годов, к этому времени изжили себя, ибо ограничивали индивидуальность поэта. Наиболее талантливые представители существовавших школ выходили за пределы начертанных ими программ. Становилось все ясней, что не отвлеченные декларации, но только сама практика сможет решить все споры, которые велись между представителями разных направлений. Поэтому мы не сочиняли манифестов, не создавали программ, но, участвуя в спорах, которые велись тогда, отстаивали свое понимание творческих задач. Оно было у нас единым, несмотря на различие наших индивидуальностей. В чем заключалась суть нашего понимания этих задач — особая тема.

Группа «Ленинград» просуществовала ряд лет и сыграла положительную роль в нашей поэтической работе.

Мы обсуждали наши произведения до их публикации. Помимо личных книг участников группы, вышли и коллективные сборники с их стихами («Маяковскому», «Салют»). Участники группы выступали на поэтических дискуссиях, публиковали полемические статьи.

Прокофьев придавал серьезное значение работе группы. В своей книге «Победа» он опубликовал список своих ранних книг и коллективных сборников, в которых были его стихи. Споры о поэзии того времени нашли свое отражение в полемических стихах Прокофьева. Эта полемика отозвалась и в его дружеских стихотворных обращениях к каждому из участников группы.

Поэзия Прокофьева пронизана жизненным. Он терпеть не мог нытиков, презирал расслабленность, неуверенность. В годы Великой Отечественной войны он отличался бесстрашием, выдержкой. Жизненные свои неудачи — а их было немало — он переносил стойко и мужественно. Даже в пору тяжелой, изнурительной болезни он удивлял близких самообладанием и твердостью духа.

Последние мои встречи с ним были на его даче, в Комарове, 4 и 5 сентября 1970 года, когда он уже был надломлен последним тяжелым недугом.

Я застал его лежащим в постели, в той комнате, где привык видеть его за рабочим столом. Здесь, в этой комнате, я встречался с ним на протяжении 26 лет. Здесь по черновым рукописям он читал мне только что написанные им стихи.

Здесь мы работали над переводами поэтов братских республик.

Здесь, в этой комнате, происходили встречи, беседы, а то и горячие споры с многими и многими писателями, которые стремились к общению с талантливым поэтом и гостеприимным, радужным хозяином.

А сколько здесь было спето песен — и русских, и украинских, и белорусских! Не говоря уже о «своих», о ленинградцах, здесь бывали Якуб Колас, Максим Рыльский, Петрусь Бровка, Андрей Ма-

люшко, Петро Глебка, Иван Нехода, Максим Танк, Леонид Первомайский, Расул Гамзатов.

Здесь бывали и его большой друг Николай Тихонов, и Михаил Исаковский, и Александр Твардовский, и Михаил Светлов, и Степан Шипачев. Да разве перечислишь всех его друзей, которые шли и ехали к нему сюда с сердцами, открытыми для дружбы, навстречу его большому, щедрому сердцу...

Под окном этой комнаты в послевоенные годы вырос тополе. Он рос, поднимался, дотянулся до подоконника, ветки его заглядывали уже в окно, у которого стоял рабочий стол Прокофьева. Прокофьев радовался топольку. «Вот смотри, — говорил он, — какой у меня тополе. Я по утрам здороваюсь с ним — здравствуй, говорю, тополе!» И тополе покачивал вершинкой, трепетал листвою, как будто отвечал на доброе приветствие.

А иногда, в грибную пору, когда я приходил к Прокофьеву, он говорил мне с загадочной улыбкой: «Пойдем, я тебе покажу...» И, взяв тонкую длинную палочку, вел меня по дачному участку, где в траве, среди берез, осин и тополей, красовались бережно прикрытые листочками то крепких борозничков, то подберезовиков, то подосиновиков. Оказывалось, он рано-рано утром обходил эти «грибные уголки» и, обнаружив грибок, укрывал его от постороннего взгляда, чтобы он мог подрасти.

Во дворе дачи были им посажены шесть дубков-малышей. Он показывал их и радовался, что они прижились, что год от года подрастают, тянутся вверх, гордо покачивая широкими ладонями своих темно-зеленых листьев.

За его окном, в глубине двора, под старым-старым тополем, широко раскинувшим могучие сучья, стояли на ножках, врытых в землю, стол и скамейки, где часто в жаркую пору Прокофьев любил сидеть и работать, здесь же он вел беседы с друзьями.

И все это — и тополе под окном, и посаженные им дубки, и старый тополь, — все это вошло в его стихи и зажило новой жизнью в его поэзии.

А как-то весной, когда стояли затянувшиеся холода и молодые осинки во дворе никак не могли распустить свои крупные набухшие почки, я сказал ему, что напишу о них и возьму их в свою «Лесную тетрадь». И написал небольшое стихотворение. Прокофьев не раз с шутилкой угрожал напоминать мне об этом и говорил: «Ты стащил у меня мои осинки! Может быть, еще что вымотришь и утащишь?»

Многое вспоминалось мне в дни наших сентябрьских встреч. Разве я мог думать, что эти встречи последние?

Несмотря на тяжелое заболевание, он расспрашивал меня о литературных делах, о друзьях и знакомых. Кое о чем он сам говорил с прежним своим лукавым юмором, смеялся по-прокофьевски, задушевно и светло. Зашла речь о его болезни, он притих, стал серьезен и сказал: «А ведь я когда-то написал: «Я светлее — ни в отца, ни в брата, — до полсотни, может, доживу...» — и умолк...

И снова разговор пошел о другом, и он посветлел, как будто рассеялась набежавшая была тучка.

Он просил меня зайти к нему непременно завтра же. Спросил о Марусе Комиссаровой. Сказал, что он, как всегда, должен подарить ей какую-нибудь из своих недавно вышедших книг. И мы пришли к нему на другой день вместе. Он обрадовался, оживился, хотя состояние его было тяжелее, чем накануне. Он не отпускал нас, но видно было, как быстро он уставал.

Попрошавшись с ним, мы вышли во двор. Здесь, выстроившись вдоль забора, стояли его дубки. Они уже высоко вскинули свои вершинки и среди желтеющих берез и кленов зеленели упрямо и стойко, не сдаваясь осенней поре.

В глубине двора, уже осыпая листья, стоял недвижимо в вечернем затишье старый тополь...

...Я открываю одну из ранних книг Александра Прокофьева — «Дорога через мост» — и читаю надписи: «Коля! Давай идти по прекрасной нашей дороге без скорби, без размолок во имя дружбы».

Сквозь всю его жизнь до последних дней мы шли по этой дороге рядом.

Она была поистине прекрасной, эта дорога, ибо она была освещена светом самой поэзии во имя дружбы и светом дружбы — во имя поэзии.

Те, кто был с ним в последние дни и часы его жизни, говорили мне, что он часто вспоминал меня, спрашивал обо мне.

Верность дружбе, к которой он призывал меня в давней своей надписи на книге, он сохранил до конца своей жизни.

ЛЕНИНГРАД